



Сергей Николаевич Кривенко
Михаил Салтыков-Щедрин. Его
жизнь и литературная деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175421

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ	4
ГЛАВА II. ЖИЗНЬ САЛТЫКОВА В ВЯТКЕ	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

С. Н. Кривенко

Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк С. Н. Кривенко.
С портретом М. Е. Салтыкова, гравированным в Лейпциге
Геданом.*

ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Первые детские воспоминания Салтыкова. – “Нежное” воспитание. Отсутствие родительской ласки. – Недостаток общения с природой. – Влияние Евангелия на детскую душу Салтыкова. – Живописец Павел и первые учителя. – Московский дворянский институт. – Лицей. – Преследование за чтение книг и сочинение стихов. – Лицейские “продолжатели Пушкина”. – Несколько юношеских стихотворений Салтыкова. – Нелюдимость лицеиста. – Увлечение Францией

Близость смерти не позволяет обыкновенно видеть настоящей величины заслуг человека, и в то время, как заслуги одних преувеличиваются, заслуги других представляются несомненно в преуменьшенном виде, хотя бы в наличии их никто не сомневался и даже враги воздавали им молчаливо известную дань уважения. Последнее относится и к Михаилу Евграфовичу Салтыкову.

Мало на Руси имен, которые говорили бы так много уму и сердцу, как его имя; мало писателей, которые имели при жизни такое влияние и оставили обществу такое обширное литературное наследство, наследство богатое и разнообразное как в отношении внутреннего содержания, так и со стороны внешней формы и совсем особого языка, который при жизни еще начал называться “салтыковским”. Примыкая по роду творчества непосредственно к Гоголю, он нисколько не уступает ему ни в оригинальности, ни в силе дарования. Мало, наконец, людей, которые отличались бы таким цельным характером и прошли бы с такою честью жизненное поприще, как он.

Родился Михаил Евграфович 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его – отец, коллежский советник, Евграф Васильевич, и мать, Ольга Михайловна, урожденная Забелина, купеческого рода, – были довольно богатые местные помещики; крестили же его тетка Марья Васильевна Салтыкова и угличский мещанин Дмитрий Михайлович Курбатов. Последний попал восприемником в дворянский дом по довольно исключительному предшествовавшему обстоятельству, о котором Салтыков рассказывает в шутовском тоне и лично, и потом в “Пошехонской старине”, где Курбатов выведен под фамилией Бархатова. Этот Курбатов славился своею набожностью и прозорливостью и, ходя постоянно на богомолье по монастырям, заходил по пути и гостил довольно подолгу у Салтыковых. Случилось ему таким же образом зайти к ним и в 1826 году, незадолго перед тем, как родиться Михаилу Евграфовичу. На вопрос Ольги Михайловны, кто у нее родится – сын или дочь, он отвечал: “Петушок, петушок, востер ноготок! Многих супостатов покорит и будет женским разгонником”. Когда родился действительно сын, то его и назвали Михаилом, в честь Михаила-архангела, а Курбатова пригласили в крестные отцы.

Воспитание помещичьих детей велось в ту пору по довольно распространенному шаблону, носило какой-то сокращенный, точно заводской, характер и не изобиловало родительским вниманием: детей растили и воспитывали обыкновенно на особой половине сна-

чала кормилицы, а потом няньки и гувернантки или дядьки и гувернеры, потом учили их лет до десяти приходские священники и какие-нибудь “домашние учителя”, нередко из своих же крепостных, а затем их сбывали в учебные заведения, преимущественно в казенные, или в какие-нибудь приготовительные пансионы. Воспитание это и вообще-то нельзя назвать рациональным, а салтыковское тем более из-за суровости домашнего режима и той довольно исключительной семейной обстановки, какая создавалась на почве крепостного права, и подчинения бесхарактерного отца практичною, деловитою матерью, которая больше всего думала о хозяйстве. Много видел маленький Салтыков и крепостной, и семейной неправды, оскорблявшей человеческое достоинство и угнетавшей впечатлительную детскую душу; но даровитая натура его не сломилась, а напротив, точно закалялась в испытании и собиралась с силами, чтобы впоследствии широко расправить крылья над человеческою неправдою вообще. Однажды мы заговорили с ним о памяти, – с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, – и он мне сказал: “А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестер – заступает за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком еще мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше”. Вообще, детство Салтыкова не изобилует светлыми впечатлениями.

“Пошехонская старина”, имеющая, несомненно, автобиографическое значение, переполнена самыми грустными красками и дает если не буквально точную, то во всяком случае довольно близкую картину его домашнего воспитания в период до десятилетнего возраста. Михаилу Евграфовичу пришлось расти и учиться отдельно от старших братьев, которые были в то время уже в учебных заведениях, но все-таки он помнил и их детство и испытал на себе, хотя и в меньшей степени, тот же воспитательный уклад, в котором телесные наказания в разных видах и формах являлись главным педагогическим приемом. Детей ставили на колени, рвали за вихры и за уши, секли, а чаще всего кормили подзатыльниками и колодушками как способом более сподручным.

“Припоминается непрерывный детский плач, неумолкаемые детские стоны за классным столом, – заставляет он говорить своего Затрапезного, – припоминается целая свита гувернантов, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево... Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками”.

Родители оставались ко всему этому равнодушны, а мать обыкновенно даже усиливала наказание. Она являлась высшей карательной инстанцией. Салтыков не любил вспоминать своего детства, а когда вспоминал какие-нибудь отдельные его черты, то вспоминал всегда с большой горечью. Никого лично он при этом не винил, а говорил, что тогда весь строй, весь порядок жизни и отношений был таким. Ни сами каравшие и расточавшие кары не признавали себя жестокими, ни посторонние так не смотрели на них; тогда просто говорилось: “С детьми без этого нельзя”, и в этом-то и был весь ужас, гораздо больший личных ужасов, потому что он-то и делал их возможными и давал им права гражданства. Внешней обстановкою детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, также нельзя было похвалиться. Хотя в доме было достаточно больших и светлых комнат, но это были комнаты *парадные*, дети же постоянно теснились днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, тоже маленькой и с низеньким потолком, где стояло несколько детских кроваток, а на полу, на войлоках, спали няньки. Летом дети еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой их положительно закупорили в четырех стенах и ни единой струи свежего воздуха не доходило до них, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только топкою печей. Одно только знали – топить пожарче и хорошенько закутывать. Это называлось *нежным* воспитанием. Очень возможно, что вследствие

именно таких гигиенических условий Салтыков и оказался впоследствии таким хилым и болезненным. Опрятность также плохо соблюдалась: детские комнаты нередко оставались неметенными; одежда на детях была плохая, чаще всего перешитая из чего-нибудь старого или переходившая от старших к младшим. Прибавьте к этому еще прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань. То же можно сказать и о питании: оно было очень скудным. В этом отношении помещичьи семьи делились на две категории: в одних еда возводилась в какой-то культ, ели целый день, проедали целые состояния и детей тоже пичкали, перекармливали и делали обжорами; в других, наоборот, господствовала не то что бы скупость, а какое-то непонятное скопидомство: всегда казалось мало, и всего было жаль. Сарай, ледники, подвалы и кладовые ломились от провизии, готовилось много кушаний, но не для себя, а для гостей; себе же на стол подавались остатки и то, что начинало уже портиться и залеживалось; на скотном дворе стояло по ста и более коров, а к чаю подавалось снятое, синее молоко, и т. п.

Такого рода порядок, да еще в усиленной степени, был и в семье Салтыковых. Но нравственно-педагогические условия воспитания были еще ниже физических. Между отцом и матерью происходили постоянные ссоры. Подчинившись матери и сознавая свою приниженность, отец отплачивал за это тем, что при всяком случае осыпал ее бессильной руганью, упреками и укоризнами. Дети были невольными свидетелями этой брани, ничего в ней не понимали, а видели только, что сила на стороне матери, но что она чем-то кровно обидела отца, хотя обыкновенно и выслушивает молча его брань, и чувствовали поэтому к ней безотчетный страх, а к нему как к человеку бесхарактерному и не могшему защитить не только их, но и себя, полное безучастие. Салтыков говорил, что ни отец, ни мать не занимались ими, что росли они, как посторонние, и что он, по крайней мере, совсем не знал того, что называется родительскою ласкою. Любимчиков еще своеобразно ласкали, остальных – нет. Само это разделение детей на любимых и нелюбимых должно было портить первых и глубоко оскорблять вторых. Затем, если несправедливые и суровые наказания действовали ожесточающим образом на детей, то поступки и разговоры, при них происходившие, распахивали перед ними всю изнанку жизни; а старшие, к сожалению, даже на короткое время не считали нужным сдерживаться и без малейшего стеснения выворачивали и крепостную, и всякую иную тину.

Не раз Салтыков жаловался на отсутствие в детстве общения с природой, на отсутствие непосредственной и живой связи с ее привольем, с ее теплом и светом, оказывающими такое благотворное влияние на человека, которое наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. И вот что мы читаем в «Пошехонской старине» от лица Затрапезного: «...с природою мы знакомились случайно и урывками – только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно». Ни о какой охоте никто и понятия не имел; изредка собирали грибы и ловили карасей в пруду, но «ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего»; затем, ни зверей, ни птиц в живом виде в доме не водилось, так что и зверей, и птиц «мы знали только в соленом, вареном и жареном виде». Сказалось это и на его произведениях: описания природы у него редко встречаются, и он далеко не такой мастер на подобные описания, как, например, Тургенев, Лермонтов, Аксаков и другие. Впрочем, не особенно много радостей могла дать ребенку и северная природа – природа бедная и угрюмая, производившая, в свою очередь, удручающее впечатление не какою-нибудь величественною суровостью, а именно бедностью, неприветливостью и сереньким колоритом. Местность, где родился Салтыков и где протекло его детство, даже в захолустной стороне было захолустьем. Это была равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, тянувшимися без перерыва на многие десятки верст. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просы-

хали в самые сильные летние жары, а текучей воды было мало. Небольшие речушки еле текли среди топких болот, то образуя стоячие бочаги, то совсем теряясь под густой пеленой водяных зарослей. Летом воздух был насыщен испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покоя ни людям, ни животным.

В детстве Салтыкова было два обстоятельства, благоприятствовавших его развитию и сохранению в нем той искры Божией, которая потом так ярко горела. Одно из этих обстоятельств, в сущности, отрицательного свойства – то, что он рос отдельно и что за ним некоторое время было меньше надзора, – дало, однако, положительный результат: он больше думал, сосредоточивался мыслью на себе и окружающем и стал самостоятельно читать и заниматься, приучаясь к самостоятельности и самостоятельности, к тому, чтобы полагаться на себя и верить в свои силы. Читать было почти нечего, так как в доме почти не было книг, а потому он читал оставшиеся от старших братьев учебники. Среди них особенное впечатление произвело на него Евангелие. Это-то вот и было вторым обстоятельством, оказавшим на него самое решительное влияние. Вспоминал он о нем потом как о животворном луче, внезапно ворвавшемся в его жизнь и осветившем и собственное его существование, и окружавший его мрак. Познакомился он с Евангелием не схоластически, а воспринял его непосредственно детскою душою. Ему было тогда восемь-девять лет. Мы не сомневаемся, что в лице Затрапезного он вспоминает именно о своем знакомстве с “Чтением из четырех евангелистов”. Вот эти чудные строки:

“Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружающей меня среде... начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков... И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ... Я даже с уверенностью могу утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего мирозерцания. В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мною из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года”.

Не могу удержаться, чтобы не привести еще следующего замечательного по глубине чувства места, которое говорит о росте сочувствия и тяготения Салтыкова к народу, – процесс, показывающий понимание народного настроения и близкую, органическую связь этого настроения с его собственным душевным состоянием:

“Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова “религия”. Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолудин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм вместо формулированной молитвы только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и вздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий

произвол, что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело... Он верит, что злосчастье его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! Колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловною молитвой, и они верили в то же чудо. И чудо свершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и свободному даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам...”

В другом месте, от лица того же Затрапезного, Салтыков говорит еще определеннее:

“Крепостное право сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни, и что только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному сознательному и страстному отрицанию его”.

Вообще, “Пошехонская старина” представляет большой интерес по отношению к автору, потому что бросает свет не только на детскую, но и на всю последующую его жизнь. Хотя он там и появляется только эпизодически, на фоне общей бытовой картины, хотя мы и не можем следить за ним день за днем, но все-таки видно, как, под какими влияниями и из каких элементов слагался его характер, его умственный и нравственный облик. Повторяем: нельзя, разумеется, утверждать, что все именно так и было, как там рассказано, но многое из того, что Салтыков лично рассказывал при жизни, воспроизведено им с буквальной точностью, даже некоторые имена сохранены (например, принимавшей его повивальной бабки, калязинской мещанки Ульяны Ивановны, первого его учителя Павла и т. п.) или только отчасти изменены.

Первым его учителем был свой же крепостной человек, живописец Павел, которому в самый день рождения Михаила Евграфовича 15 января 1833 года, то есть когда ему исполнилось семь лет, приказано было приступить к обучению его грамоте, что он и сделал, придя в класс с *указкою* и начав с азбуки. Тут есть некоторая неточность: рассказывая о первом уроке Павла Затрапезному, он говорит, что до этого он ни читать, ни писать – ни по-каковски, даже по-русски, не умел, а выучился только возле старших братьев и сестер болтать по-французски и по-немецки да заучивать по настоянию гувернанток и говорить в дни именин и рождений родителей поздравительные стихи; между тем приведенное в 5-й главе “Пошехонской старины” французское стихотворение оказалось среди бумаг Салтыкова и было написано детским почерком и подписано так: “*écrit par votre très humble fils Michel Saltykoff. Le 16 octobre 1832*”. Мальчику тогда не было еще и семи лет, следовательно, можно сделать одно из двух предположений: или что он читал и писал по-французски раньше, чем по-русски, или что стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей. Но это – незначительная неточность, на которой не стоит и останавливаться.

В 1834 году вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра Михаила Евграфовича Салтыкова, Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение его было вверено ей и ее товарке по институту Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Им помогали священник села Заозерья, о. Иван Васильевич, обучав-

ший Салтыкова латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, которого приглашали два года кряду на летние вакации. Занимался Салтыков усердно и настолько хорошо, что в августе 1836 года был принят в третий класс шестиклассного в то время Московского дворянского института, только что преобразованного из университетского пансиона. Однако в третьем классе ему пришлось пробыть два года; но это не вследствие дурных успехов, а исключительно по малолетству. Учился он по-прежнему хорошо и в 1838 году был переведен в качестве *отличнейшего* ученика в лицей. Московский дворянский институт пользовался преимуществом отправлять в лицей каждые полтора года двух лучших учеников, куда они поступали на казенное содержание, и одним из таких и был Салтыков.

В лицее, уже в первом классе, он почувствовал влечение к литературе и стал писать стихи. За это, а также и за чтение книг он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров и лицейского начальства, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Таланта его, очевидно, не признавали. Он вынужден был прятать стихи, особенно если содержание их могло показаться предосудительным, в рукава куртки и даже в сапоги, но контрабанда отыскивалась, и это оказывало сильное влияние на отметки по поведению: в течение всего времени пребывания в лицее он почти не получал, при 12-балльной системе, свыше 9 баллов до самых последних месяцев перед выпуском, когда обыкновенно всем ставился полный балл. Поэтому в выданном ему аттестате значится: “при *довольно* хорошем поведении”, а это значит, что средний балл по поведению за последние два года был ниже восьми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились “грубости”, то есть расстегнутая пуговица на куртке или мундире, ношение треуголки с “поля”, а не по форме (что было необыкновенно трудно и составляло само по себе целую науку), курение табака и иные школьные преступления.

Начиная со 2-го класса в лицее позволялось воспитанникам выписывать за свой счет журналы. Таким образом, Салтыковым получались: “Отечественные записки”, “Библиотека для чтения” (Сенковского), “Сын Отечества” (Полевого), “Маяк” (Бурачка) и “Revue Etrangère”. Журналы читались воспитанниками с жадностью; особенно сильным было влияние “Отечественных записок”, где писал критические статьи Белинский. Вообще, влияние литературы было тогда очень сильно в лицее: воспоминание о недавно погибшем Пушкине как будто обязывало нести его знамя и на каждом курсе предполагался его продолжатель. Такими продолжателями считались В. Р. Зотов, Н. П. Семенов (сенатор), Л. А. Мей, В. П. Гаевский и другие, в том числе и Салтыков. Первое стихотворение его “Лира” было напечатано в “Библиотеке для чтения” 1841 года за подписью С-в. В 1842 году появилось там же другое его стихотворение “Две жизни” за подписью С. Затем произведения его появляются в “Современнике” (Плетнева): в 1844 году – “Наш век”, “Весна” и два перевода, из Гейне и Байрона; в 1845 году – “Зимняя элегия”, “Вечер” и “Музыка”. Под всеми этими стихотворениями подпись: М. Салтыков. Он в это время уже вышел из лицея, но стихи эти были написаны еще там. Больше в стихотворной форме он, по-видимому, ничего не писал, по крайней мере, не печатал, а отдавал в печать только то, что уже было в портфеле, и отдавал не в порядке написания, а как случится: позже написанные вещи – раньше, а ранние – позже. Мы приведем некоторые из этих стихотворений как для того, чтобы показать, как Салтыков писал стихи, так и для того, чтобы видеть отражавшееся в них душевное настроение юноши – будущего выдающегося писателя.

Рыбачке

(Из Гейне. 1841)

О, милая девочка! быстро
Челнок свой направь ты ко мне!
Сядь рядом со мною, и тихо
Беседовать будем во тьме.
И к сердцу страдальца ты крепко
Головку младую прижми —
Ведь морю себя ты вверяешь
И в бурю, и в ясные дни.
А сердце мое – то же море —
Бушует оно и кипит,
И много сокровищ бесценных
На дне своем ясном хранит.

Музыка (1843)

Я помню вечер: ты играла,
Я звукам с ужасом внимал,
Луна кровавая мерцала —
И мрачен был старинный зал.
Твой мертвый лик, твои страданья,
Могильный блеск твоих очей
И уст холодное дыханье,
И трепетание грудей —
Все мрачный холод навевало.
Играла ты... я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской;
Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой!

Наш век (1844)

В наш странный век все грустью поражает.
Немудрено: привыкли мы встречать
Работой каждый день; все налагает
Нам на душу особую печать,
Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем —
Куда, к чему? Не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный род сомненья.
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все: младенческие грезы
Какой-то тайной грустию полны,

И шутка как-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслед за жизнью веет
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый ум безвременно коснеет,
И чувство в нем молчит, усыплено.
Что ж в жизни есть веселого? Невольно
Немая скорбь на душу набегит
И тень сомненья сердце омрачит...
Нет, право, жить и грустно, да и больно!..

Меланхолическое настроение автора, грусть и вопросы, зачем жизнь идет так печально и что этому причиной, – слышатся определенно и звучат искренностью и глубиной. Тогдашняя жизнь действительно мало представляла отрадного и изобиловала тяжелыми картинами бесправия и произвола. Для этого не надо было долго жить и далеко ходить, а достаточно было видеть одно крепостное право. Но вы чувствуете, что настроение это не отдает разочарованием, которое заставляет складывать руки, не похоже также и на бесплодную меланхолию, а, напротив, в нем слышится уже нота действенной любви (“моя любовь живет страданьем и страшен ей покой!”), которая потом все ярче и ярче разгоралась и не потухала до самых последних его дней. Стихи писать он скоро перестал, – потому ли, что они ему не давались, или что самая форма не соответствовала складу его ума, – но настроение осталось, и мысль продолжала работать в том же направлении.

“Еще в стенах лицея, – говорит г-н Скабичевский, – Салтыков оставил свои мечты сделаться вторым Пушкиным. Впоследствии он даже не любил, когда кто-либо напоминал ему о стихотворных грехах его молодости, краснея, хмурясь при этом случае и стараясь всячески замять разговор. Однажды он высказал даже о поэтах парадокс, что все они, по его мнению, сумасшедшие люди. “Помилуйте, – объяснял он, – разве это не сумасшествие, по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмованные строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая”. “Конечно, – добавляет г-н Скабичевский, – это была не больше как одна из сатирических гипербола великого юмориста, потому что на самом деле он был тонкий знаток и ценитель хороших стихов, и Некрасов постоянно ему одному из первых читал свои новые стихотворения”.

Ко времени, о котором мы говорим, относятся несколько строк А. Я. Головачевой о Салтыкове-лицейсте в ее литературных “Воспоминаниях”: “...я видела его в начале сороковых годов в доме М. Я. Языкова. Он и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры”. Улыбка “мрачного лицейста” считалась чудом. По словам Языкова, Салтыков ходил к нему, “чтобы посмотреть на литераторов”. Мысль сделаться и самому литератором, очевидно, глубоко засела в нем. Кроме того, как мы уже сказали, в лицее того времени интересовались литературой и много читали, чтение само собой вызывало вопросы, которые волновали и мучили, требовали ответов и порождали естественное желание слышать живое слово умных людей. Кроме выписывавшихся периодических изданий, в лицее читали и многое другое. К. К. Арсеньев говорит в “Материалах для биографии М. Е. Салтыкова”, что “даже в конце сороковых, в начале пятидесятых годов, после грозы 1848 года, после дела петрашевцев, в котором не случайно оказались замешанными многие из бывших лицейстов (Петрашевский, Спешнев, Кашкин, Европеус), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, вдохновлявшие юношу Салтыкова”.

Вышел Салтыков из лицея по первому разряду. В то время, как и теперь, из лицея выпускали окончивших курс с чином IX, X и XII классов, смотря по успехам в науках и «поведении». Так как Салтыков получал плохие баллы *за поведение* и *по предметам* особенно не старался, то и вышел с чином X класса, семнадцатым по списку. Из 22 учеников выпуска 1844 года 12 человек были выпущены IX классом, 5-X и 5-XII. К средней группе и принадлежал наш лицеист. Любопытно, что с чином X же класса вышли из лицея и Пушкин, и Дельвиг, и Мей. Из товарищей Салтыкова по лицей, бывших в одно время с ним как на его, так и на других курсах, никто не составил себе такого крупного литературного имени, как он, хотя многие писали и пробовали писать; в отношении общественной деятельности также нет более выдающегося имени; а по службе многие достигли высоких положений: например, граф А. П. Бобринский, князь Лобанов-Ростовский (посол в Вене) и другие. По окончании курса Салтыков поступил на службу в канцелярию военного министерства при графе Чернышеве.

Он не сохранил о лицее хороших воспоминаний и не любил вспоминать о нем. «Помню я школу, – писал он лет через десять после выпуска в одном из своих очерков, – но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении...» Наоборот, время юности, юношеские надежды и верования, страстное стремление из непроглядной тьмы к свету и правде, товарищи, стремившиеся к тем же идеалам, с которыми он вместе думал и волновался, вспоминаются им не раз и с удовольствием. Сравнивая то, что было в тогдашней дореформенной России, с тем, что было в Европе, молодежь особенно увлекалась Францией.

«С представлением о Франции и Париже, – читаем мы в другом очерке Салтыкова, – для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание. Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Брандты, Кукольники и т. п., но этот лагерь уже не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам».

Рассказывая дальше, что примкнул он, собственно, не к наиболее обширному и *единственно авторитетному* тогда в литературе кружку западников, который занимался немецкой философией, а к кружку безвестному, инстинктивно прилепившемуся к французским идеалистам, к Франции не официальной, а к той, которая стремилась к лучшему и ставила широкие задачи человечеству, Салтыков говорит: во Франции «все было ясно как день... все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полустолетия сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшего желания кончиться. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних двух лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались «Историей десятилетия»... Луи-Филипп и Гизо, и Дюшатель, и Тьер, – все это были как бы личные враги, успех которых огорчал, неуспех радовал. Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо... все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера». «Франция казалась страной чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этою неистощимостью жизненного творчества, которое, вдобавок, отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше?»

Если к этому прибавить, что Салтыков был русским человеком в лучшем значении этого слова, крепко был связан всем своим существом с русскою жизнью и горячо любил

родную страну и народ, любил их совсем не сентиментальною, а живую и действенную любовью, которая не закрывает глаз на недостатки и темные стороны, а ищет способов к их устранению и путей к счастью, то увидим, что он вступил в жизнь если не вполне готовым человеком, то человеком во всяком случае уже с довольно определенным мирозерцанием и довольно определенным критерием, которым оставалось только развиваться дальше и окрепнуть. Любовь Салтыкова к России редко высказывалась в каких-нибудь славословиях, но сказывалась так часто и в стольких произведениях, что я затруднил бы читателя доказательствами и цитатами. Жалуясь на недостаток общения с природой в детстве, описывая скудную северную природу того захолустья, в котором ему суждено было родиться, он и к ней проникается совсем особенною нежностью и любовью. Еще в «Губернских очерках» мы читаем следующее:

“Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость; она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Германию, окружите какую хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо – я все-таки везде найду милые серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние”.

ГЛАВА II. ЖИЗНЬ САЛТЫКОВА В ВЯТКЕ

В канцелярии военного министра. – Первые две повести: “Противоречие” и “Запутанное дело”. – Чиновник особых поручений и советник губернского правления. – Дело о прекращении беспорядков в Трушниковской волости. – Доклад Салтыкова о бедственном положении крестьян и ходатайство о наделении их достаточным количеством земли. – Вятское общество времен Салтыкова. – Недовольство провинций. – “Краткая история России”, написанная Салтыковым для дочерей Болтина. – Биография Беккариа. – Заметка об идее права

23 августа 1844 года Салтыков был зачислен в канцелярию военного министра, а через два года, в августе 1846-го, получил там место помощника секретаря и, конечно, не думал, что скоро ему предстоит проститься с Петербургом и отправиться на службу в Вятку. Причиной последнего была тоже литература, к которой его продолжало тянуть. Первыми его произведениями были рецензии некоторых новых книг в отделе библиографической хроники “Отечественных записок” (преимущественно учебников и для детского возраста). До 1846 года отделом этим заведовал Белинский, потом, до половины 1847-го, главную роль играл в нем Валерьян Майков, а после его смерти дело велось, по-видимому, коллективно. В 1847 году, в ноябрьской книжке тех же “Отечественных записок”, была напечатана первая повесть Салтыкова “Противоречия” под псевдонимом “М. Непанов”, посвященная В. А. Милютину, родному брату Николая и Дмитрия Алексеевичей. В. А. Милютин и В. Майков, оба рано умершие, были талантливыми и многообещающими молодыми писателями, первый – в области политических и социальных наук, второй – в критике. Салтыков вспоминал о них не раз, когда заходила речь о том времени.

Первому своему беллетристическому опыту он не придавал серьезного значения и не включал повесть “Противоречия” ни в одно из изданий своих произведений, не исключая и последнего, которое хотя и вышло уже после его смерти, но состав которого был точно определен им самим. Затем в марте 1848 года появилась в “Отечественных записках” вторая его повесть, “Запутанное дело”, которая и послужила поводом к высылке его в Вятку. Может быть, этого и не случилось бы, если бы не произошло во Франции февральской революции и мартовского движения в Германии, потому что основная мысль повести – сочувствие бедным и униженным – только с большой натяжкой могла быть истолкована в смысле прямого и неопозволительного порицания общественного строя. К этому присоединилось еще то, что находили некоторое сходство между действительными лицами и изображенными. В повести усматривалось влияние Ж. Санд и других французских писателей, проповедовавших свободу и социалистические учения и распространением идей которых главным образом объяснялось революционное брожение в Европе.

Согласно биографическому очерку “Русской библиотеки”, просмотренному и одобренному самим Салтыковым, было обращено особое внимание на обе его повести, хотя они и были пропущены цензурой и не имели его подписи (вторая была подписана только инициалами М. С.). Очень возможно, что были приняты в соображение обе повести, но главные пункты обвинения все-таки были направлены против второй. Сам Салтыков говорит: “В марте-месяце я написал повесть (“Запутанное дело”), а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления”. Само же дело происходило так: “Надо же было случиться, – говорит г-н Скабичевский, – чтобы одним из первых распоряжений комитета было строгое замечание военному министру за цензурные неисправности в “Русском инвалиде”. Это обстоятельство вооружило графа Чернышева против литераторов, и, как нарочно, в то время как граф Чернышев находился еще под впечатлением полученного им замечания, явился к нему Салтыков как подчиненный проситься в отпуск...” Упустивши совсем из виду, что

чиновник его занимается литературой, граф Чернышев тут только вспомнил об этом и спросил Салтыкова: “Вы, кажется, в журналах пишете?” На утвердительный ответ граф Чернышев потребовал, чтобы он представил ему свои сочинения, а потом, мол, “мы и посмотрим, можно ли вас отпустить...” Салтыков представил ему свои два рассказа, а тот поручил Н. Кукольнику написать о них доклад. Заклятый враг натуральной школы, Кукольник представил ему такой доклад, что “граф Чернышев только ужаснулся, что такой опасный человек служит в его министерстве”, и тотчас же препроводил доклад в бутурлинский комитет, а Салтыкова уволил из министерства.

28 апреля 1848 года он был отправлен в Вятку.

О жизни Михаила Евграфовича в Вятке, к сожалению, до сих пор мало что известно. Одно только можно сказать, что жизнь он вел деятельную, и что его выдающиеся способности не заглохли и нашли и там приложение. Сначала он был зачислен в канцелярские чиновники при губернском правлении, т. е. понижен по службе, поставлен в самые последние ее ряды; но с осени того же года положение его улучшилось: он был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе. Губернатором в то время в Вятке был Середа. Он не мог не оценить молодого чиновника, резко выделявшегося из среды провинциальной бюрократии и образованием своим, и знанием дела. Салтыков два раза при нем исправлял должность правителя губернаторской канцелярии; сверх того ему было поручено составление по городам Вятской губернии инвентарей недвижимых имуществ, статистических описаний и соображений о мерах к лучшему устройству городских дел. 5 августа 1850 года Салтыков был назначен советником вятского губернского правления. В 1851 году Середа был назначен наказным атаманом Оренбургского казачьего войска и оставил Вятку, а на его место приехал Семенов. При новом губернаторе деятельность Салтыкова становится еще разнообразнее. Помимо вышеупомянутой работы и одновременно с ней он состоит еще делопроизводителем в трех комитетах: ведающих рабочим и смирительным домами, порядком отдачи в аренду почтовых станций и выставкой сельских промыслов в Петербурге; а затем на него же возлагается и распоряжение вятской очередной сельскохозяйственной выставкой.¹ В 1852 году Салтыков в качестве советника губернского правления был послан губернатором вместе с жандармским офицером в Слободской уезд для принятия мер к прекращению беспорядков между государственными крестьянами Путейского и Нелесовского сельских обществ Трушниковской волости; а в 1853-м – был командирован в Нолинск для обревизования делопроизводства тамошнего земского суда.

Все эти поручения, – как и многие другие, не попавшие в его формулярный список, – исполнялись им далеко не заурядным, чиновничьим образом: он тщательно изучал дело, выяснял все его обстоятельства, старался раскрыть причину тех или других явлений и найти средства к предупреждению их. И делал все это он с редким беспристрастием, а когда нужно было, то и с гражданским мужеством, не боясь высказывать прямо неприятную правду или предлагать меры, которые легко могли быть истолкованы в качестве его неблагонамеренности. Лучше всего это можно видеть из сохранившейся в его бумагах копии с донесения, представленного им в ноябре 1852 года губернатору по вышеупомянутому делу о прекращении беспорядков в Трушниковской волости. Дело это, окончившееся при участии Салтыкова миролюбиво, представляет значительный интерес как образчик положения крестьян и дореформенных административных порядков.

Вкратце состояло оно в следующем: существовала Камская казенная оброчная статья, смежная с Путейским и Нелесовским сельскими обществами и сдававшаяся в аренду то им, то частным лицам (если те платили хотя бы только 12 рублями дороже), которые устраивали из нее источник наживы и притеснения крестьян. В точности ни размер, ни границы

¹ Таковую же деятельную роль по устройству местной выставки в Вятке, лет за 15 перед тем, играл Герцен.

этой статьи определены не были (в 1836 году в ней числилось 1846 десятин, в 1846-м – 720, в 1850-м – 991 десятина), вследствие чего между крестьянами и арендаторами происходили постоянные недоразумения. Крестьянам крайне необходима была эта земля, потому что своей было мало; они расчистили ее из-под леса, привыкли владеть ею и считали если не всю, то часть ее своею, а арендаторы требовали с них оброка даже за такие места, которые, по мнению крестьян, не входили в оброчную статью, а принадлежали сельским обществам. Лесничество не определяли и не соблюдали границ, а только доносили палате государственных имуществ, что Камская статья заросла кустарником и не имеет межевых знаков; землемеры, несмотря на предписания, либо отказывались возобновить знаки под какими-нибудь предложениями, либо ссылались (как это было в 1852 году) на нежелание понятых указать границы, которых те, может быть, и не знали; палата в течение 16 лет ограничивалась “отпиской” и ни разу не потрудились вникнуть как следует в положение крестьян; судя по контракту с последним арендатором, она даже *была совершенно не знакома с предметом сделки*. Словом, шла обычная канцелярская волокита, переписка и отписка. Крестьяне то соглашались платить арендаторам оброк, то отказывались. Когда последний арендатор отказался от дальнейшего содержания Камской статьи, и палата предписала лесничему принять ее в свое хозяйственное распоряжение, то последний вместо того возобновил вновь, еще и со своей стороны, переписку о взыскании оброка с крестьян. Поехало на место действия временное отделение земского суда; крестьяне не только отказались от платежа взыскиваемых денег, но и вынудили станового, помощника окружного начальника и самого арендатора дать оправдывающую их действия подписку. Тогда послано было за военной командой.

И вот как раз в это время был командирован туда Салтыков. Из расспросов крестьян он узнал еще о новом обстоятельстве, объясняющем их *неповиновение* и *упорство*; в 1844 году спорная земля была нарезана им землемером по числу душ и была предназначена к отводу в состав земельного их надела, что было крайне необходимо, потому что надел, которым они пользовались, был произведен еще по генеральному межеванию, а не по числу душ 8-й ревизии, и достаточный тогда, стал недостаточен впоследствии. Хотя нарезка эта и не была еще утверждена в установленном порядке, а была лишь предварительной, – почему-то с этим медлили, – но крестьяне считали дело поконченным, принимали нарезку за акт окончательный.

Убедить их при таких условиях в необходимости исполнения предъявляемых к ним требований было задачей не из легких, но Салтыков в этом преуспел до прибытия военной команды.

Другой на этом и остановился бы: отрапортовал бы начальству, что “беспорядки прекращены и бунтовщики приведены в надлежащее повиновение”, и считал бы миссию свою блистательно исполненной; но не таков был Михаил Евграфович: взявшись за дело, он считал необходимым довести его до конца, по крайней мере, до конца логического, то есть до выяснения причин известного явления и мер, какие должны быть приняты, если не хотят, чтобы явление это повторялось. И вот мы видим, что он тщательно описывает крестьянский быт, до мелочей входит в подробности хозяйства и промыслов “бунтовщиков”, не оставляет положительно ни одного обстоятельства незамеченным и необследованным. Это приводит его к убеждению, что крестьяне “находятся в самом бедственном положении”, что удобной земли у них “едва-едва приходится на душу от 2 до 3 десятин” и что земля эта “самого посредственного качества”, так как хлеб родится “едва сам третей, а большею частью сам друг”; что это вероятно “и понудило крестьян делать в свободных казенных землях расчистки, которые впоследствии были введены в состав Камской оброчной статьи”; что хороших сенокосов у них “нет вовсе”, и что лучшие поемные луга по реке Каме также “введены в состав оброчной статьи и из пользования крестьян изъяты”; что “скотоводство поэтому находится в самом жалком положении”, а от этого страдает и хлебопашество; что промыс-

лов, которыми занимаются крестьяне (бурлачество, поставка дров и угля на соседние железодельные и пермские солеваренные заводы), “едва достаточно на уплату государственных податей”, и т. д. А убедившись, что “причины, побудившие крестьян к возмущению”, заключаются, во-первых, в самом их положении, которое “представляется столь бедственным, что с первого взгляда обращает на себя особенное внимание”, и, во-вторых, в недоразумении, возникшем “от неотграничения и неприведения в известность Камской статьи”, он приходит в конце своего рапорта к следующему выводу:

“По моему мнению, единственный способ водворить между крестьянами прочный порядок и тишину заключается в скорейшем наделении их землею по числу душ 8-й ревизии, причем, так как почти все свободные казенные земли этого края таковы, что нарезка их крестьянам нисколько не послужит к улучшению их быта, а напротив того, потребует от них же значительного труда и издержек, которые могут вознаграждаться разве через весьма долгое время, то я полагал бы в число земель, предполагаемых к наделу крестьянам по 8-й ревизии, включить и Камскую статью в полном ее составе. Тем более, по мнению моему, предположение это заслуживает уважения, что статья сия составила из лесных полян, на расчистку которых этими же крестьянами употреблен не один десяток лет”.

Чтобы высказывать подобные вещи в 1852 году, да еще в исключительном положении Салтыкова, действительно надо было иметь известную долю гражданского мужества. Не щадил он при этом и многочисленных упущений со стороны ведомства государственных имуществ, в котором частенько тогда попадались “озорники”, “чиновники хозяйственного управления” и Удодовы, выведенные им потом в “Губернских очерках” и “Благонамеренных речах”.

Однако провинциальная жизнь, хотя бы и очень деятельная, не могла удовлетворить Салтыкова. У него были другие духовные потребности, кроме служебных, у него были товарищи, друзья, отношения и связи с людьми, которых он уважал, и живая беседа с которыми становилась тем настоятельнее, чем ниже было окружающее общество и чем он в глубине души чувствовал себя более одиноким. “Вятский чиновный мир пятидесятых годов, – говорит К. К. Арсеньев, – состоял большею частью из оригиналов портретной галереи, наполняющей “Губернские очерки”. С постоянным их соседством он никак примириться не мог”. Были некоторые исключения, как, например, А. П. Тиховидов, которого он из учителей гимназии убедил перейти на гражданскую службу и потом рекомендовал Муравьеву (сыну министра), когда тот, уже по возвращении его из Вятки, был назначен туда губернатором; было и еще некоторое количество хороших людей, с которыми можно было “по-человечески переговорить”; но все-таки это было не то, что нужно было Салтыкову, и не они – несколько человек – придавали окраску и тон жизни. Он скучал, боялся опуститься в тину провинциальных мелочей и вот что писал в своей “Скуке”:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.